
ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ

*

МОЙ «НОВЫЙ МИР»

Детство я провел в Кузбассе на железнодорожной станции Тайга — бревенчатый домик на углу улицы Телеграфной и Кирпичного переулка, грунтовые дороги, зимой — морозы за сорок, летом — жара. От близкой железной дороги несло запахами каменного угля, креозота, которым пропитывали шпалы, паровозного колючего дыма. Все как везде: грунтовые дороги, алюминиевая посуда, никелированные шары на спинках железных кроватей, клеенчатые диваны, подушечки, расшитые мулине, герань на окнах. Репродуктор (круг из черной бумаги) рассказывал о том, что своими глазами нам увидеть ни при каких обстоятельствах невозможно: о высадке советских полярников на ледниковые берега Антарктиды, о пуске Дубненского синхрофазотрона, о переносе столицы Бразилии вглубь страны, о ядерном взрыве на полигоне штата Невада. Действительно далеко. Да и что значат выборы генерального секретаря недавно созданной ООН перед автостопами непрерывного действия, тоже совсем недавно поставленными на паровозы? Машинистам и помощникам, моим соседям по улице, не надо больше, высовываясь по пояс, судорожно вглядываться в светофоры, тонущие в осеннем тумане или в январском снегопаде, — автоматическая сигнализация мгновенно дублирует показания перегонных сигналов в паровозную будку.

А еще — гнутые венские стулья, чудесная голубая эмаль спортивных значков, пачкающаяся мечта — китайские авторучки со свинчивающимся колпачком, вечные простеганные телогрейки и полувоенные кители, цинковые тазы...

И наконец, книги, которые были в каждом доме.

Понятно, что литературой в Тайге считалось то, что лежало перед тобой на столе.

«Даурия» К. Седых, «Белая береза» М. Бубеннова, «Сталь и шлак» В. Попова, «Буря» И. Эренбурга, «Хребты Саянские» С. Сартакова, с которым мой отец (техник-строитель) когда-то вместе работал в Енисейске, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Поджигатели» и «Заговорщики» Ник. Шпанова, «Переяславская рада» Натана Рыбака, «Порт-Артур» А. Степанова, «Волны черного моря» В. Катаева, «Земля Кузнецкая» А. Волошина, которого я видел на выступлении в клубе им. Ленина; он читал отрывки из своего романа, получившего Сталинскую премию: «Ох, и разыгралось сердце каждого солдата, когда поезд пересек советскую границу...», «Сталь и шлак» В. Попова и даже такие, теперь уже как бы и безымянные, романы, как «Гроза над Римом» и «Югославская трагедия». Все это было прочитано еще в детстве или пересказано отцом.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 году в селе Пировское Енисейского района, окончил Томский университет с дипломом геолога. Участвовал в геологических и палеонтологических экспедициях. В 1990-х возглавлял журнал «Проза Сибири». Геннадий Прашкевич — лауреат многочисленных жанровых премий, автор свыше десяти романов, представляющих направление «интеллектуальной фантастики», а также сборников стихов и прозы. Живет и работает в новосибирском Академгородке. В «Новом мире» печатается впервые.

Представленный здесь материал посвящен 85-летию юбилею «Нового мира», который отмечается в наступившем году.

Электричество часто отключали. Тогда окна деревянных домов теплились в летней мгле тускло — много ли света может дать семи- или даже десятилинейная (по ширине фитиля) керосиновая лампа? Но этого света хватало, чтобы вчитываться и в не совсем иногда четкие шрифты.

А еще отец приносил из библиотеки толстые журналы, которые от других таких же толстых отличались тем, что выглядели совсем как книги — в настоящих картонных переплетах голубоватого цвета. «Новый мир». Буквы на обложке были крупные и четкие. По укоренившейся привычке любой текст, попавший в руки, дочитывать до конца я прочитывал и эти принесенные отцом журналы, время от времени натываясь на вещи, действительно интересовавшие меня.

Мне было тринадцать, год шел 1954-й.

«Поговорим всерьез о необходимости развития научно-фантастического жанра».

И это в таком толстом журнале? Я глазам своим не верил. Мне давно хотелось об этом поговорить, а толстые журналы того времени не только не говорили о фантастике, но и не печатали ее, за исключением все того же «Нового мира» (Иван Ефремов, «Рассказы о необыкновенном», 1945). А странно, почему только Ефремов? Валентин Петрович Катаев, например, родословную «Нового мира» выводил из «Современника». Из «Отечественных записок». Из «Красной нови»... А во всех этих журналах фантастику привечали — от Одоевского, Сенковского, Гоголя до Алексея Толстого и Александра Грина.

Предложил тему для разговора в «Новом мире» писатель-фантаст Юрий Долгушин, роман которого «ГЧ» («Генератор чудес») я прочитал совсем недавно. «Фантастических книг в стране выходит мало, — указывал Долгушин, — а те, что есть, страдают недостатками в литературно-художественном отношении либо не отвечают задачам настоящей научной фантастики». Короче, нет сейчас у нас в стране ни одного фантастического произведения, которое стало бы любимой настольной книгой молодого писателя.

Это, несомненно, говорилось обо мне.

Тринадцать лет... Активный поиск... Попытка написать роман о восстании рабов в Атлантиде... Меня многие проблемы мучили... Прав был Долгушин, утверждая, что «фантастика — это очень трудный жанр. Чтобы создать совершенное научно-фантастическое произведение для нашего советского читателя, автор должен обладать не только талантом писателя, но и чутьем ученого, доскональным знанием предмета, широким социально-политическим кругозором, способностью популяризатора-художника. Капитализм не ставит и не может ставить перед научной фантастикой тех целей, которые ставим перед нею мы».

Ну да, капитализм. Известное дело. Инженер Попов изобретает радио, а итальянец Маркони получает Нобелевскую премию. Бутлеров создает теорию химического строения, а немец Кекуле утверждает, что первым был он. У нас развивают настоящую науку, а за рубежом совсем чокнулись: газеты писали, радио твердило, что у них там, у капиталистов, развиваются в основном лженауки. Понятно, почему «капитализм не ставит и не может ставить перед научной фантастикой тех целей, которые ставим перед нею мы». Одна из задач: не позволить лженаукам прорваться через границы. Фарфоровый бюстик пограничника Карацупы и его красивой овчарки стоял тогда чуть ли не в каждом доме...

Мне повезло, что еще школьником я принял участие в крупной палеонтологической экспедиции. Работала она на Урале, и пригласил меня поработать в ней как раз тот самый И. А. Ефремов, рассказы которого печатались в «Новом мире». Он был крупным палеонтологом, создателем тафономии — учения о закономерностях захоронения (образования скоплений) ископаемых остатков организмов. В поле на Урале работали будущий академик Л. П. Татаринков, П. К. Чудинов, Н. Н. Иорданский; а жена Ефремова — Елена Дометьевна Конжукова, тоже палеонтолог — каждую неделю получала от Ивана Антоновича новые книги и журналы, содержание которых становилось темой горячих обсуждений у вечернего костра. Именно там я почувствовал разницу между кругом

чтения в Тайге и кругом чтения людей, лично создающих современную науку, да и литературу тоже. Никаких Бабаевских и Бубенновых! Все это, оказывается, не имело большого значения. «Кибернетика и общество» Норберта Винера, впервые переизданный Грин, В. Дудинцев, — вечерние обсуждения у костра принципиально отличались от вечерних обсуждений на тайгинских лавочках. Однажды был озвучен текст письма, направленного советскими академиками руководителю СССР Н. С. Хрущеву. Речь в этом письме шла о деятельности академика Т. Д. Лысенко. Образ «народного» академика, гонителя многих знаменитых ученых, создателя отечественных лженаук, впервые обрел для меня четкие очертания. Стало вдруг ясно, что вот он — человек, многие годы тормозивший развитие советской науки, уничтожавший ее цвет!

Но странно опять же...

Юрий Долгушин опять сбил меня с толку...

В предисловии к новому изданию «Генератора чудес» он рассказывал о «народном» академике уважительно. Так, будто крупнейшие советские ученые не выступали против его деятельности. Так, будто он и впрямь возвышался над всеми. «Знакомство с академиком Трофимом Денисовичем Лысенко, — писал Долгушин, — беседы с ним о „живом и мертвом“, о бессмертии и смерти, о новой генетике дали мне почувствовать свежий ветер нашей передовой биологии, представить себе ее пути».

О новой генетике...

О живом и мертвом...

О бессмертии и смерти...

Конечно, не «Новый мир» определял мои мальчишеские ценности, но журнал в голубоватом или сером твердом переплете постоянно присутствовал в доме. Поначалу я перелистывал его из чистого любопытства, потом втянулся. Как всякий официальный журнал, «Новый мир», пусть и с запозданием, попадал тогда в самые глухие уголки страны. Это отвечало культурной программе вождя всех времен и народов: литературой советские граждане должны были считать то, что ложилось на их столы по воле Партии и Правительства. Издаваемые книги и журналы должны были покрывать все советское пространство. Разумеется, я ничем не отличался от других читателей. Мне все было интересно. С одинаковым рвением я поглощал романы Н. Вирты и В. Шишкова, повести Ф. Гладкова и Алексея Толстого, рассказы Ванды Василевской и поэмы Павла Антокольского, хотя некий привкус безвкусыя, скажем так, уже мучил меня, заставлял выбирать книги по каким-то пока не очень ясным признакам. Так было до восьмого класса, когда в руки мне случайно попала книга советского критика А. Селивановского (работавшего в свое время и в «Новом мире») «В литературных боях». Бой-то литературные, но погибали люди по-настоящему, в том числе и А. Селивановский, арестованный и расстрелянный в конце тридцатых. О погибших в годы «ежовщины» знали в Тайге в каждом доме, многие семьи так или иначе были затронуты «чистками». Все это причудливо перемешивалось с искренней преданностью вождю, с искренним неприятием всего чужого. А силу массового психоза я уже знал. В марте 1953 года, например, день точно не помню, меня выгнали с урока. Ну, дело обычное, несправедливое, виноват я, конечно, не был, но раз выгнали, значит, надо умудриться не попасть на глаза директору, который любил пройтись во время занятий по пустым коридорам, отлавливая таких, как я. Крадучись двинулся я по коридору, и тут мимо меня пронесся директор. Поразительно! Он увидел меня, но не остановился, только призывно взмахнул рукой. Это было так непонятно, что я решил — все дело во мне, директор каким-то образом уже узнал о творящейся (не в первый раз) в нашем классе несправедливости и лично явился навести порядок. Вслед за ним я осторожно подошел к дверям своего класса и прислушался. Самые невероятные подозрения подтвердились: в классе плакали. Значит, директор знал обо мне много хорошего. Значит, он пристыдил учительницу и призвал к ответственности всех моих одноклассников. Пусть поплачут, порыдают, с неожиданной жестокостью решил я, будут знать, как жить и учиться без меня, но на всякий случай приоткрыл дверь, а потом и вошел, низко наклонив голову. Плач

теперь был общим, никто не скрывал горя. Я хотел крикнуть: «Не плачьте, я уже здесь», но, к счастью, не успел. Директор погладил меня по голове и тоже заплакал.

«Сталин умер».

Ах, чердаки, пропахшие самосадам, жестяные петушки на коньках крыш!

Ах, темные кирпичные трубы, палисадники с березками и темными кустами смородины; и глубокое небо, еще не расчерченное следами реактивных самолетов; и грачи на распаханном огородах; и книги, приходящие неведомо откуда, и уходящие неведомо куда!

Потрясение, вызванное книгой А. Селивановского, осталось на всю жизнь. А Селивановский всего лишь цитировал стихи, которые звучали странно, непохоже на то, что нам давали в школьной программе, и эти чудесные, ни на что не похожие строки, которые тут же запоминались, и их хотелось повторять и повторять, Селивановский нещадно громил, называя декадентскими, упадническими, недоступными для простого человека. «С коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца». Хорошо это или плохо? Я мучительно искал определенности, хотя, вообще-то, двойственность в Тайге мало кого смущала. Конец пятидесятых. На нашей улице жил секретарь горкома партии; не главный, конечно, но секретарь. Он ходил в аккуратном черном костюме, всегда задумчивый, внимательный, видно было, что занят важными размышлениями; иногда за ним приезжала машина. Все знали, что от этого нашего соседа многое зависит — скажем, состояние запущенных улиц, забитых илом кюветов. Но когда кому-то хотелось пожаловаться, за советом и помощью шли почему-то не к секретарю, а к его брату — паровозному кочегару, веселому громкоголосому выпивохе или даже к многочисленным Анучиным (семья из двенадцати человек), которые, независимо от пола и возраста, непременно сидели в тюрьмах как до революции, так и после нее, а может, и сейчас продолжают сложившуюся традицию.

Улялаев був такий — выверчено віко,
Дірца в подбородке тай в ухі серга —
Зроду не бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга...

Я вчитывался. Я холодел от восторга и непонимания. Ну да, бандит. Ну да, борец за неправое дело. Селивановский это хорошо объяснил. И с девками у батьки не все получалось. Но почему, почему, почему так легко запоминались именно эти стихи, а не патриотические опусы из школьных хрестоматий?

И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря...

А тут что упаднического? И что такое вообще упадничество? Почему рабочий и колхозник не могут, как утверждал Селивановский, понять такие стихи? Гумилев, Ахматова, Зенкевич, Нарбут, Андрей Белый, Мандельштам, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Илья Сельвинский, Багрицкий впервые предстали передо мной в замечательной книге А. Селивановского. «Мы когда империи, помните, бабахали...»

В мире появились новые звуки, запахи, цвета.

К тому же зимой 1957 года я стал убежденным дарвинистом.

Каждую зиму мы заливали на своей улице каток, на котором катались все. Катался там и местный хулиган Паюза (один из семьи Анучиных) на «снегурках», примотанных к валенкам веревочками. Про Паюзу мы твердо знали: он скоро «сядет». За что? Увидим. Про снежного человека, очень популярного в те годы, мы твердо знали, что он существует, а про Паюзу — он скоро «сядет».

И тут произошло следующее. Катаясь на своих «снегурках», Паюза упал.

Весь каток замер, а я засмеялся. Невольно засмеялся. Почему-то падение Паюзы показалось мне смешным. Зато всем на катке сразу стало ясно, за что наконец «сядет» Паюза. Некоторые даже подтянулись поближе, чтобы лучше видеть всю техническую сторону этого дела. Но Паюза, видимо, ударился сильно, я успел сбегать. И целый месяц старался лишний раз не выходя из дома, в школу ходил дальними обходными путями. Отец в это время ремонтировал городскую библиотеку и, видя мою необыкновенную (похвальную, конечно) усидчивость, принес мне в подарок списанный толстенный том Чарльза Дарвина «Происхождение видов естественного отбора... пути». Замечательное академическое издание 1935 года с вступительными статьями Н. И. Бухарина и Н. И. Вавилова, в переводе К. А. Тимирязева.

«Не во власти человека изменить существенные условия жизни; он не может изменить климат страны; он не прибавляет никаких новых элементов к почве, но он может перенести животных или растения из одного климата в другой, с одной почвы на другую; он может дать им пищу, которой они не питались в своем естественном состоянии».

Я убедился в правоте Дарвина довольно скоро.

За месяц, что выпал на изучение указанного выше научного труда, Паюза успел проиграть борьбу за существование, и его «переместили из одного климата в другой» и дали ему пищу, «которой он не питался в своем естественном состоянии».

Так что в равной мере меняли меня и Селивановский и Паюза.

А там подступали потрясения, связанные с «Новым миром».

Изучая книгу «В литературных боях», я понял, что читать надо прежде всего тех поэтов, которых Селивановский ругает. Такой вот закон от обратного. И не потому что тянулся к неизвестным мне поэтам, что не признавал современную советскую поэзию (там у меня были свои любимчики), а как раз потому, что к моменту окончания школы я окончательно убедился, как замечательна русская поэзия вообще. «Вертоград моей сестры, вертоград уединенный...» Когда в 1958 году с письмом академика Д. И. Щербакова я приехал в новосибирский Академгородок, чувство это только усилилось. Оставаясь на ночные дежурства в здании на улице Советской, в котором некоторое время размещались многие будущие научные институты Академгородка, я перечитал груды удивительных книг, хранившихся в чудесной объединенной библиотеке Сибирского отделения Академии наук СССР. В работах ботаника Верзилина вдруг возникали эпиграфы из Гумилева, из Багрицкого, из Тихонова, а знаменитая (фактически запретная в те годы) работа академика Л. С. Берга «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей» начиналась с уже знакомых стихов-эпиграфа:

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.

<...>Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны...

Биолог Б. М. Козо-Полянский и поэт Осип Манделъштам, геохимик А. Е. Ферсман и Борис Пастернак, палеонтолог И. А. Ефремов и Мария Шкапская, эволюционист И. И. Шмальгаузен и Михаил Кузмин — все они нашли место в моем сердце, хотя туманность еще не сгустилась в яблоко.

Работая в Институте геологии и геофизики новосибирского Академгородка, каждодневно общаясь с людьми известными и очень известными, я никогда не забывал про один загадочный деревянный дом в Тайге. В этом доме жил знако-

мый моего отца, некто Темир Федоров — человек мрачный, неразговорчивый, и за пыльными стеклами окон смутно проглядывал шкаф, явно набитый книгами не Мальцева и Бабаевского.

Так я думал.

Нет, не думал, а был уверен.

Наверное, никогда и не заглянул бы я в тот шкаф, наверное, и жизнь моя сложилась бы не так, как она сложилась, но в 1962 году в ноябрьском номере «Нового мира» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Достать журнал было невозможно — в рознице он ушел сразу, в библиотеках за книжкой журнала выстраивались многомесячные очереди, но у меня журнал был. Я тогда умел доставать все, что мне хотелось прочесть. «Засыпал Шухов вполне удовлетворенный, — читал я, понимая, что читаю нечто, очень крепко связанное с жизнью моего отца, с жизнью наших соседей по Телеграфной. — На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся». — Слова простые, знакомые, но с ужасным подтекстом, я это чувствовал, поскольку слишком хорошо к тому времени знал, о чем в повести идет речь. — Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». И заключительные слова: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

Мне как раз надо было ехать в Тайгу.

А судьба существует. Судьба непременно сводит нужных людей.

Первый, кого я увидел на вокзальном перроне, был тот мрачный, немного постаревший отцовский знакомый. Увидев в моих руках знаменитый номер «Нового мира», Темир даже изменился в лице.

«Отдай его мне».

«С чего это вдруг?»

Пока мы переходили железнодорожный виадук, а потом, мимо зеленого, а потом мимо желтого магазина шли в сторону городского базара, Темир приводил мне десятки причин, по которым журнал должен был перейти к нему. Отдельной книгой повесть Солженицына может не выйти... Номер журнала могут конфисковать... И так далее и тому подобное... А у него, у Темира... История, в общем, ординарная для России. Мать и отец, сгинувшие в тридцать седьмом. Бабка, лишённая права проживать во всех крупных городах СССР. Скупые долгие разговоры на кухне, исключительно между собой. И бесконечное ожидание: заговорят ли когда-нибудь о судьбах тех, кто был увезен, угнан на север, раскидан по многочисленным лагерям...

В свое время выслан был на север еще один из моих старших друзей — писатель Сергей Александрович Снегов. Его история имеет самое прямое отношение к «Новому миру», потому привожу ее здесь.

После ареста «из Ленинграда меня привезли в Москву, — вспоминал Сергей Александрович. — Здесь я побывал в именных тюрьмах — на Лубянке, в Бутырках, Лефортове — свыше десятка месяцев <...>. Только в тридцать девятом году леновецким этапом по Севморпути отправили нас „трюмным грузом“ в Дудинку».

Кстати, Сергей Александрович писал стихи, которые очень уважаемый мною Селивановский, несомненно, отнес бы к упадническим.

В невылазной грязи телеги тонут,
Из вязкой глины не извлечь кирки.
Прорабы не командуют, а стонут,
И пайки сверх возможного легки.

В бараке вонь, и грязь, и дым. В газете
висит таблица вынутых кубов.
И парочка блатных творит в клозете
нечистую трусливую любовь...¹

«Норильским комбинатом и лагерем командовал некий Шевченко. Он был кандидатом технических наук, полковником НКВД. Так что расконвоировал меня Шевченко как физик физика. (По образованию Сергей Александрович был физиком. Впоследствии он написал несколько серьезных книг о создателях нашего советского ядерного оружия, — Г. Л.) Позже, в сорок пятом — (когда закончился срок) — я решил поработать в том же Норильске <...> и вольнонаемным специалистом пробыл до 51-го, спасибо, не прибавили новый срок, а дали только ссылку. Мы просто сдали свои паспорта и продолжали работать. Как шутили тогда, мы потеряли свободу без отрыва от производства».

И далее: «Должен сказать, что ни до, ни после Норильска я не встречал такого концентрированного сгустка умных мозгов в одном месте. Интеллигентов и просто талантливых людей. Нас было в лагере несколько друзей, как водится, свой круг, группа товарищей. Кто в этот круг входил? Лева Гумилев, сын Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, великих русских поэтов, сам блестящий поэт, отказавшийся от литературного поприща в пользу науки. „Одного Гумилева в русской литературе более чем достаточно“, — говорил он, смеясь. А Евгений Сигизмундович Рейхман? Милый, молчаливый, интеллигентный инженер-мостовик. В свободное от строительства мостов время он написал и издал для души книжку о росписи дворцовых залов Версаля и о влиянии на них итальянского Возрождения. А мой близкий друг Виктор Петрович Красовский? Профессор, доктор экономических наук. <...> С Левой Гумилевым мы составили „Словарь наиболее употребимых блатных слов и выражений“ и даже написали научно-историческую работу на этом „иностранном языке“. Она называлась „История отпадения Нидерландов от Испании“... Чтобы у вас было представление, процитирую начало: „В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что Папа — антихрист. Голландцы начали шипеть на Папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за Пахана, подначила испанское правительство. Испанцы стали качать права — нахально тасили голландцев на исповедь, совали за святых чурки с глазами. Отказчиков сажали в кандей на трехсотку, отрицаловку пускали налево. По всей стране пошли шмоны и стук. Спешно стряпали липу. Гадильники ломились от случайной хевры. В проповедях свистели об аде и рае, в домах стоял жуткий звон. Граф Эгмонт на пару с графом Горном попали в непонятное, их по запарке замели, пришили дело и дали вышку...”»²

«Рукопись первого своего романа я отправил Александру Трифоновичу Твардовскому в “Новый мир”, — вспоминал Сергей Александрович. — Шел 1952 год. Надежды опубликоваться не было никакой. Но вот получаю письмо от Сергея Сергеевича Смирнова, в котором он вместе с Твардовским сообщает, что правовое мое положение не имеет ничего общего с литературным процессом и они собираются печатать мой роман!.. Но им это, конечно, не удалось. Только когда я был освобожден из ссылки и в 1956 году полностью реабилитирован, эта моя первая большая вещь появилась в „Новом мире“. Редактором журнала был тогда Константин Симонов. Он мне сказал: „Давайте всех, кто у вас явно заключенные, назовем эвакуированными. Умные люди поймут, что к чему“.... Чтобы роман увидел свет <...> так и сделали...”³

Пока Темир выкладывал свои доводы, я вспомнил про загадочный шкаф. И сказал:

«Ладно. Журнал твой, если покажешь книги, которые хранятся в твоём шкафу».

¹ Снегов С. Явь и видения. СПб., «Лань», 2001.

² Снегов С. Норильские рассказы. М., «Советский писатель», 1991.

³ Снегов С. В полярной ночи. Роман. — «Новый мир», 1957, № 4 — 7.

«Это не мои, это бабкины книги».

«Как хочешь».

Соблазн был велик. Темир сдался.

И мы оказались в доме. В сумрачном, тихом.

Девяностолетняя бабка давно уже не вставала с постели.

Я молча прошел в большую комнату и пока Темир что-то объяснял бабке, потрясая книжкой «Нового мира», я открыл тяжелые застекленные дверцы. И найденное в шкафу многое и навсегда определило в моей жизни. И уничтоженные впоследствии цензурой книги, и неприятности с книгами, выходящими в свет, и отношения с пишущими коллегами, а главное — смысл того, чем я занимался и занимаюсь. В шкафу оказалось многое из того, что яростно отвергал Селивановский. Первые издания Сергея Буданцева, Бруно Ясенского, Артема Веселого. На титуле «Гуляй-Волги», например, красовался автограф: «Щербатому коновалу — лучшему из четырех, Артем Веселый». Оказывается, погибший в лагере отец Темира дружил с писателем (тоже погибшим). Там были книги, названия которых, казалось, навсегда исчезли из советской печати. Это, кстати, позволяет мне сейчас если не разрушить, то хотя бы поколебать давний и надоевший миф о том, что в конце тридцатых годов, в эпоху больших репрессий, читающие люди все, как один, старательно избавлялись от книг, скопившихся в их квартирах. Да, конечно, одни книги сжигались, другие выбрасывались, из третьих выдирались портреты опальных деятелей, но такие упрямые бабки (а их было немало), как бабка Темира Федорова, покидая города, в которых им отныне запрещалось жить, тащили с собой не только ложки-вилки, бедный свой скарб, но книги, книги! Волей вождя всех времен и народов пространство Советского Союза неустанно покрывалось томиками Бабаевского и Фадеева, Павленко и Мальцева, а волею высылаемых на север — бабок то же самое пространство так же неустанно покрывалась томиками Бабеля и Буданцева, Артема Веселого и Бруно Ясенского, даже того же Селивановского. На гнезда такой вот великолепной «антисоветской литературы» я не раз позже наталкивался в Благовещенске, в Хабаровске, в Новосибирске, в Свердловске, в Томске, даже в Южно-Сахалинске и в Магадане, не говоря уж про Питер и про Москву.

Книгу уничтожить трудней, чем кажется.

А с Александром Исаевичем Солженицыным я познакомился в 1994 году, когда, вернувшись из США, писатель следовал железнодорожным путем из Владивостока в Москву. В Новосибирске организовали большую встречу с писателем в Доме ученых, но я участвовал в беседе с ним за круглым столом в Институте ядерной физики. О странном приобщении, благодаря его повести, к миру истинной литературы я с Солженицыным, конечно, не говорил, но получил возможность задать давно мучивший меня вопрос: «Считаете вы себя писателем или проповедником или, может, пророком?» Не буквально этими словами, но за смысл ручаюсь. Александр Исаевич ответил честно и очень по-своему: «Если бы коммунисты покаялись во всех совершенных ими преступлениях, я бы оставил писание книжек».

Не знаю, не знаю.

Вот что меня сейчас грызет.

А если бы в том 1962 году редакция «Нового мира» напечатала бы «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, а не повесть Солженицына (такой вариант рассматривался), как изменилась бы судьба страны? И как изменилась бы судьба моя собственная?

Нет ответа.

Осенью 1968 года я работал в поле на севере Сахалина — мысе Марии. А в Южно-Сахалинском книжном издательстве готовилась к выходу первая книжка моих стихов. Я буду дарить эту книжку девушкам, мечтал я в маршрутах. Я пошлю книжку своим болгарским друзьям. Времена изменились, можно печатать стихи чисто лирические, личностные, об упадничестве сейчас говорят

только в крайних случаях, жизнь меняется. Вон даже Солженицыну хотели дать Государственную премию.

Но в издательстве, где я появился осенью, настроение почему-то царило далеко не праздничное. Директор меня не принял, а редактор книжки дал странный совет. Наверное, перепутал порядок ходов, как говорят шахматисты. «Твоя книжка уже готова, — сказал он, странно оглядываясь, будто нас могли подслушать. — Осталось только подписать ее в свет... Правда, у Лито появились вопросы». Он посмотрел на меня круглыми глазами. «Сходи в Лито сам. К цензуре. Она умная. Сам увидишь».

Конечно, редактор сказал это, не подумав, ведь в Советском Союзе цензуры не существовало. И цензоров, как таковых, не существовало. По законам двойственности, о которых я уже говорил, существовали всего лишь штатные сотрудники Лито, охранители государственных тайн, невидимки, общаться с которыми имели право только редакторы, но никак не авторы. Но, будучи человеком молодым, воспитанным на идеях оттепели, я разыскал нужное здание, поднялся на нужный этаж, вошел в нужный кабинет. Женщина за столом сидела симпатичная. Она посмотрела на меня с ужасом, но мои стихи ей, оказывается, нравились. «Ах, — сказала она, — я давно ничего такого свежего не читала!» И добавила, не опуская глаз: «Правда, есть мелочи. Вот тут, например, взгляните. Да, да, в стихотворении о нашем советском князе Святославе. В девятьсот шестьдесят восьмом году (тысячу лет назад) он тут у вас якобы застиг врасплох братские болгарские города, ну, и все прочее. — Она наконец успокоилась, откинулась в кресле. — А где тому доказательства? Не провокация ли это? В каком госхране лежат документы, подтверждающие данные события?»

«В трудах академика Державина, советского болгароведа...» — начал я.

Чудесная охранительница государственных тайн поняла меня с полуслова.

И на другой день я действительно доставил в Лито второй том «Истории Болгарии» академика Н. С. Державина. На странице тринадцатой значилось: «В конце весны или в начале лета 968 г. Святослав Игоревич во главе 60-тысячной армии спустился в лодках вниз по Дунаю и двинулся по Черному морю в устье Дуная. Болгария была застигнута врасплох, выставленная ею против Святослава 30-тысячная армия была разбита русским князем и заперлась в Доростоле (теперь Силистра)... Центром своих болгарских владений Святослав сделал город Преславец, т. е. Малый Преслав, расположенный на правом болгарском берегу Дуная... Чтобы спастись от непрошеного гостя, болгарское правительство вступило в переговоры с Византией, одновременно предложив печенегам напасть на Русь и тем самым заставить русских с их князем очистить Болгарию. Печенеги на это согласились и осадили Киев. Это заставило Святослава поспешить в Киев, но значительную часть своей армии он оставил в Преславце...»

Вот они, доказательства. Академик указывает. Но, отложив книгу, сотрудница Лито долго глядела на меня с непонятной грустью. Я даже встревожился. «Откуда же эта печаль, Диотима?» Жизнь так прекрасна. Дарить девушкам книжку стихов. Зачем лишние вопросы? Но сотрудница все-таки задала главный вопрос:

«А в каком году, Геннадий Мартович, издана работа академика Н. С. Державина?»

«В одна тысяча девятьсот сорок седьмом».

«Так вот, — подвела итог сотрудница. — Тысячу лет назад, в девятьсот шестьдесят восьмом году, и даже двадцать один год назад, в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году наш советский князь Святослав мог делать в братской Болгарии все, что ему заблагорассудится. Но в *одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году* мы ему этого не позволим».

И набор моей первой книги был рассыпан.

«...Невозможно сердцу, ах! — не иметь печали...»

В «Новом мире» пересекались писатели, разительно непохожие друг на друга. Там появлялись произведения, всячески приветствуемые властями, и произведения, часто попадавшие под удары тех же властей. Какой литературы было в журнале больше? А вы всмотритесь внимательно в этот вот далеко не полный

список, поиграйте — разложите направо и налево авторов, раскачивавших лодку, и авторов, пытавшихся рулить в точно заданном направлении. Кого больше? Кого?

«Черный человек» Сергея Есенина,
 «Лейтенант Шмидт» Бориса Пастернака,
 «Хождение по мукам» и «Петр Первый» Алексея Толстого,
 «Россия, кровью умытая» Артема Веселого,
 «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького,
 «Севастополь» и «Люди из захолустья» А. Малышкина,
 «Соть» и «Скутаревский» Леонида Леонова,
 «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян,
 рассказы Исаака Бабеля и Андрея Платонова,
 «Энергия» Федора Гладкова,
 «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Михаила Шолохова,
 воспоминания Андрея Белого,
 «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского,
 «Моя Африка» Бориса Корнилова,
 «Испанский дневник» Михаила Кольцова,
 «Теркин на том свете» Александра Твардовского,
 «Буря» Ильи Эренбурга,
 «Творцы дорог» Николая Заболоцкого,
 «Дым отечества» Константина Симонова,
 «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова,
 «За правое дело» Василия Гроссмана,
 «Корабельная чаша» Михаила Пришвина,
 «Не ко двору» Владимира Тендрякова,
 «Сирота» Николая Дубова,
 «Сережа» Веры Пановой,
 «Районные будни» Валентина Овечкина,
 «Владимирские проселки» Владимира Солоухина,
 «На Иртыше» Сергея Залыгина,
 «Большая руда» Георгия Владимова,
 «Прощай, Гюльсары!» Чингиза Айтматова,
 «Тишина» Юрия Бондарева,
 «Бессонница» Александра Крона,
 «Театральный роман» Михаила Булгакова,
 «Созвездие Козлотура» Фазиля Искандера,
 «Хуторок в степи», «Кладбище в Скулянах», «Святой колодец», «Алмазный мой венец» и «Уже написан Вертер» Валентина Катаева,
 «В августе сорок четвертого (Момент истины)» Владимира Богомолова,
 «Обмен» Юрия Трифонова,
 и дальше, дальше...

Повторяю, это лишь некоторые имена из огромного списка.

Для меня, например, наряду со многими другими вещами, опубликованными «Новым миром», чрезвычайно важными оказались последние вещи Катаева. Пусть сам Валентин Петрович (по свидетельству Нины Макаровой, одной из редакторов «Нового мира») говорил: «Мовизм — шутка, никакой серьезной теории. Просто сейчас все пишут хорошо. Чтобы как-то отличаться, я и несколько моих друзей решили, что, может быть, надо писать плохо? И назвали себя мовистами. А кому-то показалось все это всерьез», — мне по душе другие его слова (позже он писал мне об этом, прочитав одобрительно мою книгу «Люди Огненного кольца»): «Писать надо неорганизованно. Что приходит на память, о том и писать».

Я думал об этом, побывав недавно в Магадане — на конференции, посвященной памяти моего покойного друга, писателя Александра Бирюкова. Он много лет занимался архивами НКВД — МГБ — КГБ, судьбами погибших на Колыме известных и неизвестных людей — от приемной дочери кровавого нар-

кома Николая Ежова (она действительно прошла Колыму, там же тихо жила на воле: играла на баяне, выпустила книжечку стихов) до Бруно Ясенского и Сергея Буданцева.

Холодное звездное небо над тысячами безымянных могил.

В свое время Людмила Живкова, дочь болгарского партийного вождя, купила в Париже пару домов, куда могли наезжать болгарские художники. Людмила Живкова совершенно справедливо считала, что настоящий художник (даже социалистический) непременно должен подышать воздухом Парижа. А мне кажется, что хорошо бы нашим Союзам писательским приобрести несколько обветшалых, еще уцелевших барачков на Колымской трассе, чтобы нынешние писатели могли не только в теплые дальние края ездить, а поработать в бедной гостинице на краю земли, подумать о суеде суеда на ледяных берегах Ногайской бухты...

Письма Катаева...

Дружба с Астафьевым...

Это я опять о разности писателей, печатавшихся в «Новом мире».

Осенью 1972 года я плавал с Виктором Петровичем по Оби — с заходами в мелкие городки, с выступлениями в селах. «Вот все кричат, прямо исходят в крик: „Ох, берегите природу!” — бил кулаком по столу Астафьев. — А почему-то никто не кричит: „Караул! Вот какие выросли дети в наших малосортных квартирах!” А это они, наши подростки дети всюду губят природу. Я не тогда почувствовал ужас, — уставлял Астафьев на меня единственный зрячий глаз (другой не видел, и ключица перебита на Днепре), — когда увидел здоровенных осетров, валяющихся в песке и в иле, а тогда почувствовал ужас, когда увидел на берегах Енисея дохлых ершей. Ерши, они все переживают, и если они вдруг все-таки сдохли, значит, совсем дрянь дело. К тому же наши советские браконьеры, они ведь везде проникают, и такие они талантливые, что могут уничтожать все живое, даже не касаясь его. Стали мы, скажем, активно кедр оберегать, пожалели, не стали трогать, просто вырубали лес вокруг, вот кедр сам и попадал...»

Не все книги Астафьева мне нравились. Но писатель, его голос, его отношение к миру были необычными. В некотором смысле как катаевский мовизм. «На фронте героизм и трусость неразделимы, — кричал он, упираясь в стол тяжелыми кулаками. — Сегодня навалишь в штаны, а завтра, что называется, совершишь подвиг. Один мой приятель любил шастать по нейтральной — жрать хотелось. Но и немцы не дураки, им тоже жрать хотелось. Наши минеры делали для охотников специальные проходы, однажды засекли поросенка — визжал на нейтралке. Вычислили место, и ночью мой приятель двинулся за добычей. Прирезал поросенка (рухнувшей балкой его придавило), под прикрытием стен при выплывающей Луне сидит, кишки свинячьи выбирает, чтоб легче было тащить. И тут две тени, чужой сапог на автомате. „Гут, Иван, гут!” Никогда никакую работу этот мой приятель не делал так медленно, как в ту ночь. Но наконец все выбрал, все очистил. Немцы забрали поросенка, а с ним — автомат. А потеря оружия на фронте — это конец, это трибунал. — Астафьев незаметно переходил на мат. — Но немцы тоже оказались людьми, может, бывшие спартаковцы. Уходя, оглянулись, вынули диск, бросили оружие...»

«Вот сейчас пишу роман о днепровском плацдарме. Мы там ходили по трупам, а между ними рыба валялась — мы ее ели. Я лет десять потом был равнодушен и к рыбам, и к покойникам, только позже немножечко отошел. Передвигались только по оврагам, это я однажды сдуру решил спрямить путь, полез по гребню. Не верил, что самолеты или минометчики могут охотиться за одиночками. Когда справа и слева рвануло — еще не верил, но когда впереди, то понял — вилка. Видишь, весь кривой, и нога, и рука, и глаз, и ключица выбита. Позже из-за всего этого не хотел ехать в ГДР. Упирался, говорил: ну чего я поеду? Сяду в кафе, а напротив немец с таким же выбитым глазом и торчащей ключицей, мне что делать? Уговорили, и зря. Руководителем делегации оказался Василий Ардаматский, а он, как только за кордон выехали, сразу пре-

вратился в классика советской литературы и столько мне унижений принес, что нас домой на разных самолетах отправили. Но с немцем — инвалидом войны я в ГДР все же поговорил. Когда нас познакомили, я подумал: вот, может, ты и накрыл меня миной на Днепре, ключицу сломал, глаз выбил? Нет, оказалось, воевали на разных фронтах. Да и немец жаловался: война, дескать, это его личное несчастье, ведь всем сразу видно, что ранен был, значит, фашист! А какой он фашист? Солдат. Те, что были в спецкомандах, по ним не скажешь, что воевали...»

«А еще я в ГДР такое увидел, — откидывался на стуле Виктор Петрович. — Сидит немец в ресторане, моложе меня, здоровый, наглый, салатик ест, одна горошинка только в тарелочке и осталась. Он ее аккуратно приткнул вилкой, а она сорвалась. Он ее опять на вилку, а она в масле, упала. Интерес меня взял: вот, думаю, справится или нет? А немец понес горошинку ко рту, она снова упала. Ну, думаю, блядь, какой упорный. Но катали вы эту горошинку и впредь катать будете. А он заметил мой взгляд, горошинку ножом к вилке прижал и съел! И эдак на меня оглянулся. Вот тогда, Генка, я и подумал: когда-нибудь они нас победят...»

Ах, Тайга!

Ах, начало начал!

Тяжелые составы, голосистые вызывальщики паровозных бригад (телефоны только в конторах), уроки труда, голубятни над старыми сараями; двойные зимние рамы с серой ватой между ними. Голос Имы Сумак (кто ее сейчас помнит?), черные репродукторы, акварельные краски на овальных картонных палитрах, короткие сигареты «Дукат», длинные папиросы «Фестивальные», крепдешин для женщин, диагональ для мужчин, лаковые шкатулки, оклеенные золотистой соломкой. Это намертво в голове, а ведь в то же самое время сместили с поста министра обороны Маршала Советского Союза Жукова, поставили Братскую ГЭС, с частных лиц сняли обязательные поставки сельхозпродуктов государству, выселили из городов попрошаек — инвалидов войны, испытали сверхдальнюю межконтинентальную баллистическую ракету...

Пыхтящие паровозы, визг пилорам, мичуринские участки...

В Москву едет премьер Китая, везут из Индии слонов Равви и Шаши.

Еще не рухнула империя, но ее уже раскачивают, раскачивают, раскачивают, и авторы «Нового мира» тоже. И как много, думаю я, зависит от того, какой и кому журнал попадет в руки. Там, в детстве.

Мне повезло. Мне попал «Новый мир».

Акцент именно на *новый*. *Новый* при всех режимах, при всех временах.

И не важно, где ты родился — на улице Горького или на улице Телеграфной.

